

«Моральный вред» и «оскорбленные чувства»: особенности перевода религиозной эмоциональности на язык судебных документов

ЕКАТЕРИНА А. ХОНИНЕВА

Рекомендация для цитирования:

Хонинева Е. А. «Моральный вред» и «оскорбленные чувства»: особенности перевода религиозной эмоциональности на язык судебных документов // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2024. № 42(4). С. 109–136.
<https://doi.org/10.22394/2073-7203-2024-42-4-109-136>

For citations:

Khonineva, E. A. (2024) “‘Moral Injury’ and ‘Offended Feelings’: Peculiarities of Translation of Religious Emotionality into the Language of Court Documents”, *Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom* 42(4): 109–136.
<https://doi.org/10.22394/2073-7203-2024-42-4-109-136>

Поступила в редакцию: 13.03.2024;
прошла рецензирование: 26.05.2024;
принята в печать: 26.09.2024.

Received: 13.03.2024; Revised: 16.05.2024;
Accepted for publication: 16.09.2024.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

© 2024 by the author.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия). ekhonineva@eu.spb.ru

ORCID:

В фокусе данной статьи — дискурсивное конструирование внутренних состояний, ассоциируемых с оскорблением религиозных чувств. В основе исследования лежит анализ материалов судебных решений по уголовным делам по статье 148 УК ч. 1 и ч. 2, а также гражданских дел с требованием компенсации морального вреда за «оскорбление чувств верующих» по статье 151 ГК. В правовых документах создается модель интерсубъективной ситуации оскорбления, рассматриваемой с опорой на внутренние состояния участников этой ситуации — интенций в случае обвиняемых и эмоций в случае потерпевших, которые выводятся посредством юридического языка. Дискурсивная реконструкция интенций обвиняемых оформляется с опорой на морально-правовые категории, вследствие чего создается образ личности, последовательно и намеренно нарушающей нормы морального порядка. Для защиты этого порядка избираются «религиозные чувства», которые «переводятся» в термины морального вреда и нрав-

ственных страданий. Таким образом, в контексте современной правовой защиты «чувств верующих» антиобщественное поведение обвиняемых противопоставляется поведению общественному, то есть моральному — а именно уважительному по отношению к определенным (чаще всего православным) символам. Типичным же антиподом обвиняемому выступает человек религиозный, или, вернее, тот, кто должным образом демонстрирует эмоциональную реакцию на трансгрессию моральных границ.

Ключевые слова: антропология морали, аффективный поворот, оскорбление чувств верующих, моральный вред, интердискурсивность

“Moral Injury” and “Offended Feelings”: Translation of Religious Emotionality into the Language of Court Documents

Ekaterina A. Khonineva

European University at St. Petersburg; The Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia).
ekhonineva@eu.spb.ru

ORCID:

The article presents the results of the study of discursive construction and moralization of subjectivity in court documents. The research is based on the analysis of court decisions in criminal cases under Article 148 of the Criminal Code, Part 1 and Part 2 (better known as the article ‘on insulting the feelings of believers’), as well as demanding compensation for moral injury for ‘insulting the feelings of believers’ under Article 151 of the Civil Code. The documents create a model of an intersubjective situation of insult, considered with the reliance on the internal states of the participants of this situation — intentions in the case of the accused and emotions in the case of the victims, which are expressed through the legal language. The discursive reconstruction of the intentions of the accused is framed with reference to legal moral categories, this creates an image of a person who consistently and deliberately violates the norms of the moral order. To protect this order, ‘religious feelings’ translated into terms of moral injury and moral suffering. Hence, in the context of the legal protection of the ‘feelings of believers’, the anti-social behaviour of the accused is contrasted with social, i.e. moral, behaviour, namely, respect for certain (most often Orthodox Christian) symbols. The

typical antipode for the accused is a religious person, or, rather, someone who properly demonstrates an emotional reaction to acts of transgression of moral boundaries.

Keywords: anthropology of morality, affective turn, offense to the feelings of believers, moral injury, interdiscursivity

ОДИН из ярких риторических приемов в социальных исследованиях права строится на небольшом парадоксе. С точки зрения повседневного здравого смысла, правовое регулирование общественных отношений понимается как пространство, где нет места для индивидуальных чувств, эмоций и аффектов¹. В особенности это касается религиозных чувств и эмоциональности, определяемых как антипод правовой и экономической рациональности и неизбежно требующих перевода на язык секулярных институтов для того, чтобы быть принятыми ими всерьез.

В то же время это вовсе не означает, что субъективный опыт не становится предметом правовой защиты. Хрестоматийный пример такого рода защиты, в свое время широко обсуждавшийся в академической литературе по теме, — это юридическая концепция «чувств верующих» и криминализация их «оскорбления», установленная в ряде государственных правовых систем².

Благодарности: Я выражаю глубокую признательность за помощь в подготовке этой статьи аспирантке факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Алине Куличковой, а также Никите Шевченко, Анне Алтуховой, Александре Касаткиной, Дмитрию Колядову, Екатерине Рудневой, Александру Мартыненко и Сергею Штыркову за внимательное чтение и критические комментарии к ее черновому варианту.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-18-00508, <https://rscf.ru/project/21-18-00508/>

Acknowledgments: I am deeply grateful for the in preparing this article to Alina Kulichkova, PhD student at the Department of Anthropology, European University in St. Petersburg, as well as to Nikita Shevchenko, Anna Altukhova, Alexandra Kasatkina, Dmitry Kolyadov, Ekaterina Rudneva, Alexandra Martynenko and Sergey Shtyrkov for giving critical comments on the draft version.

This research was supported by the Russian Science Foundation grant No. 21-18-00508, <https://rscf.ru/project/21-18-00508/>.

1. Bens, J. (2022) *The Sentimental Court: The Affective Life of International Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Cliteur, P., Herrenberg, T. (2016) *The Fall and Rise of Blasphemy Law*. Leiden: Leiden University Press; Rollier, P., Frøystad, K., Engelsen Ruud, A. (2019) *Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia*. London: UCL Press; Masud, M. K.,

Российская специфика понятия «оскорбление чувств верующих» в основном исследуется в рамках академической дискуссии о границах секулярного и религиозного, ценности свободы слова и религиозных табу как предмете публичных дебатов³. При этом обращение к собственно правовой перспективе конструирования категории «оскорбленных чувств» остается, пожалуй, недооцененным направлением исследования.

В российском контексте нормативно-правовые акты, в которых проблематизируются религиозные чувства и эмоции, составляют сравнительно малую и в определенном смысле уникальную часть нормативной базы документов, в той или иной форме затрагивающих категорию человеческих «чувств»⁴. Само понятие «оскорбление религиозных чувств» существует в российской законодательной системе немногим более 20 лет — сначала в качестве предмета привлечения к административной ответственности в рамках ст. 5.26 КоАП («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях») вместе с осквернением почитаемых предметов, знаков и эмблем, а затем и в качестве предмета уголовного регулирования в рамках статьи 148 Уголовного кодекса. Изначально указанная статья предусматривала привлечение к ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций и совершению обрядов. В 2013 году в качестве реакции на выступление группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве в статью была внесена поправка⁵, которая регла-

Vogt, K., Larsen, L., & Moe, C. (eds) (2021) *Freedom of Expression in Islam: Challenging Apostasy and Blasphemy Laws*. London, New York, Dublin: I. B. Tauris.

3. См. например: Bernstein, A. (2013) “An Inadvertent Sacrifice: Body Politics and Sovereign Power in the Pussy Riot Affair”, *Critical Inquiry* 40(1): 220–241; Kormina, J. (2021) “‘The Church Should Know its Place’: The Passions and the Interests of Urban Struggle in Post-Atheist Russia”, *History and Anthropology* 32(5): 574–595; Shevzov, V. (2014) “Women on the Fault Lines of Faith: Pussy Riot and the Insider/Outsider Challenge to Post-Soviet Orthodoxy”, *Religion and Gender* 4(2): 121–144; Uzlaner, D., Stoeckl, K. (2019) “From Pussy Riot’s ‘Punk Prayer’ to Matilda: Orthodox Believers, Critique, and Religious Freedom in Russia”, *Journal of contemporary religion* 34(3): 427–445; Узланер Д. Дело «Пусси райот» и особенности российского постсекуляризма // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 2(31). С. 93–133.
4. Разогреева А. М. Преступления как возмущение коллективных чувств: концепция Э. Дюркгейма и Актуальные арт-практики // Философия права. 2017. № 4(83). С. 133–138.
5. Федеральный закон РФ от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные

ментировала наказание за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ст. 148 ч. 1), в том числе в местах для религиозных обрядов, богослужений и церемоний (ст. 148 ч. 2). Изменения затронули, соответственно, и статью 5.26 КоАП, предметом регулирования которой в итоге осталось только осквернение предметов.

Палитра деяний, которые в судебной практике квалифицированы как «оскорбление чувств верующих», оказалась довольно разнообразна. С момента существования актуальной редакции обсуждаемой статьи в качестве «оскорбления чувств верующих» квалифицировались такие действия, например, как размещение фотографий и видео в социальных сетях, на которых обвиняемые представляли в «неподобающем» виде на фоне религиозных сооружений или внутри них; публикация статей с некомплементарным по отношению к религии и религиозным институтам содержанием; комментарии к видеосъемке игры с дополненной реальностью в пространстве храма; оскорбительное высказывание в адрес верующих или религии как таковой во время трансляции онлайн-игры; публикация карикатур или съемки, на которой запечатлены люди, моющие обувь святой водой.

Между тем вопросы правового определения публичности совершаемых действий и доказательства существования преступного умысла, направленного на выражение «явного неуважения к обществу» и «оскорбление религиозных чувств», имеют очевидную моральную окраску. Разъяснение значения первой формулировки «явного неуважения к обществу» дается в комментарии Пленума Верховного суда РФ по делам о хулиганстве: «явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним»⁶. После вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 513-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» схожим образом определяется и «оскорбление» как «унижение чести и достоинства другого

акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан».

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений».

лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме»⁷. И «общепринятые нормы морали и нравственности», и «противопоставление себя обществу» здесь могут видеться в большей степени как категории повседневного морального воображения или практического знания о моральном порядке, нежели как правовые категории со строго очерченным содержанием. В то же время мы можем говорить о генезисе ряда формулировок в судебной практике по защите неимущественных прав и нематериальных благ, а также в специфической идеологии коллективной морали советского права, оперирующей концепциями «антиобщественного поведения», «общественной опасности», «явного неуважения к обществу» и т.п.⁸

Каким образом осуществляется юридическая морализация внутренних субъективных состояний, будь то религиозные чувства или мотивы к совершению их оскорбления? Здесь, как кажется, наиболее подходящий аналитический язык предлагает теоретическая программа антропологов Талала Асада и Сабы Махмуд. Понятие дискурсивных процессов «перевода» является центральным для асадианского проекта постколониальной критики и критики секуляризма. В общем виде Асад понимал перевод как компонент масштабных процессов реализации власти и подчинения, основанных в том числе на т.н. неравенстве языков⁹. Ученица Талала Асада — Саба Махмуд — в своем комментарии к публичным дебатам вокруг скандальных «датских карикатур» 2006 г. предлагает сфокусироваться на том, каковы последствия «перевода» религиозного аффекта и моральных страданий на язык юридической нормы. Исследовательница ставит ряд вопросов: «почему

7. В то время как в старой редакции статьи 5.61 КоАП РФ об оскорблении личности состав преступления определялся как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

8. См. например: Fitzpatrick, Sh. (2006) "Social Parasites: How Tramps, Idle Youth, and Busy Entrepreneurs Impeded the Soviet March to Communism", *Cahiers du monde russe et soviétique* 47 (1/2); Ластовка Т. В. Тунеядство в СССР (1961–1991): юридическая теория и социальная практика // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 212–229; Черкаева К. Достоинство личности как личная собственность: Мета-морфоза российских законов о порочащих сведениях // Новое литературное обозрение. 2018. № 3. С. 65–80.

9. Asad, T. (1986) "The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology", In J. Clifford, G. E. Marcus *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, p. 189. Berkeley, CA: University of California Press. См. также: Asad, T. (2018) *Secular Translations: Nation-state, Modern Self, and Calculative Reason*. New York, NY: Columbia University Press.

в научных и общественных дискуссиях так мало внимания уделяется тому, что представляет собой моральная травма в современном секулярном мире? Каковы условия понятности, которые делают прозрачными одни моральные притязания, а другие — заглушают? Какие издержки влечет за собой обращение к закону или государству для разрешения такого конфликта?»¹⁰.

В западных либеральных обществах, пишет Махмуд, «понятия психической, телесной и исторической травмы пронизывают юридический и публичный дискурсы». Исследовательница показывает, как перевод религиозной эмоциональности в юридические термины «морального вреда» и «травмы», «разжигания ненависти» или «возмещения ущерба», осуществляемый мусульманами для того, чтобы объяснить, какого рода оскорбление им нанесли карикатуры, неизбежно предполагает трудности с соизмерением различных концепций религии и религиозной субъектности. В либеральном праве религия предстает как предмет свободного выбора и как вера в определенный набор убеждений, и, соответственно, ее статус рассматривается как спекулятивный, а значит менее реальный. В более широком смысле опора права на нормативную концепцию религии существенно влияет на то, что считается убедительным и объективным доказательством морального ущерба, а что — лишь плодом воображения, абберацией внутреннего опыта¹¹. В итоге попытка перевода морального страдания из области религиозного этического домена со своей онтологией субъекта в моральные термины гражданского права, а нанесенного оскорбления — в наказуемое преступление, по мнению Махмуд, приносит результаты едва ли не противоположные поставленным целям, то есть еще больше дереализует «религиозную чувствительность».

Следуя за логикой рассуждений Сабы Махмуд, в данной статье я рассмотрю, как перевод субъективных состояний на юридический язык морали и язык эмоций (в такие термины, как «оскорбленные чувства», «нравственные страдания», «чувство вседозволенности и безнаказанности» и т.п.) осуществляется непосредственно в правовой дискурсивной реальности — в судебных документах. В силу письменного характера российского уго-

10. Mahmood, S. (2009) "Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide?", *Critical Inquiry* 35(4): 842.

11. Ibid, p. 853.

ловного судопроизводства¹², в основе исследования лежит анализ текстов судебных решений уголовных дел по статье 148 УК ч. 1 и ч. 2 (более известной как статья «об оскорблении чувств верующих»), а также гражданских исков по статье 151 ГК о компенсации морального вреда за «оскорбление чувств верующих» и дела в рамках уголовного судопроизводства по ст. 213 ч. 2 УК РФ (известного как «дело Pussy Riot»). Судебная практика анализировалась по материалам базы «Судебные и нормативные акты РФ» и ГАС РФ «Правосудие»¹³ с момента внесения поправки в статью 148 УК в 2013 году по 2023 год. Всего в результате поиска было обнаружено более 60 судебных решений по статье 148 УК, из которых была исключена часть актов, не содержащих релевантной информации для поставленных в рамках исследования вопросов.¹⁴ В качестве примеров в данной статье использовались текстовые материалы 25 судебных решений.

Субъект и юридический документ

Бюрократические документы, в том числе и правовые акты органов судебной власти, долгое время представляли сравнительно малый интерес для антропологов¹⁵. Одно из объяснений, которое дает подобному положению дел антрополог Дэвид Гребер, — это то, что бюрократические документы слишком скучны¹⁶, а антропологическая наука все еще имеет слабость ко всему яркому и экзотическому. Обнаружить в бумажно-бюрократической реальности ее собственную поэтику и источник интеллектуальных прозрений для «традиционных» антропологических тем —

12. См. подробнее об этом: *Панеях Э., Титаев К., Шклярчук М.* Траектория уголовного дела: институциональный анализ. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018; *Титаев К.Д., Шклярчук М.С.* «Языком протокола»: исследование связи юридического языка с профессиональной повседневностью и организационным контекстом // *Социология власти.* 2015. № 27(2). С. 168–206.

13. Данные с сайтов российских судов были выгружены преимущественно с помощью парсера, созданного в рамках проекта «Если быть точным».

14. В первую очередь использовались судебные решения и приговоры первых инстанций. Апелляционные определения и решения о перенаправлении в другие инстанции были исключены в силу отсутствия в них содержательной информации о позиции потерпевшего.

15. Hull, M. (2012) “Documents and Bureaucracy”, *Annual Review of Anthropology* 41: 251–267.

16. Graeber, D. (2012) “Dead Zones of the Imagination: on Violence, Bureaucracy, and Interpretive Labour”, *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 2(2): 105–128.

значит увидеть в бюрократическом документе «не только текст» в буквальном и метафорическом смысле.

Основная проблема, которая возникает при изучении бюрократических документов, — это инерция их интерпретации как прозрачного «стекла», как будто бы в точности позволяющего увидеть те фрагменты реальности, которые это «стекло» призвано отразить, или текст — задокументировать. В сущности, обсуждаемая особенность документов составляет одну из базовых функций медиа, призванных, растворяясь в восприятии, переключать человеческое внимание на то, что они опосредуют¹⁷. Задача антропологии документов — отстраниться от такой лингвистической идеологии, которая утверждает пропозициональность в качестве основания языка, и вернуть этим артефактам статус медиаторов, которые не просто репрезентируют, но участвуют в создании, конструировании и трансформации значений и их связи с объектами и субъектами.

Если рассуждать об этой проблеме применительно к судебным актам по делам об «оскорблении чувств верующих», то здесь напоминание о необходимости отличать репрезентацию от опосредования едва ли необходимо. Дело в том, что сама категория «чувств верующих» и их «оскорбления» оказывается семантически темной как для правоприменителей, так и для представителей общественности, комментирующих это правовое нововведение на различных публичных площадках. Существует ли особый тип чувств, которые могут испытывать только верующие? Как возможно оскорбить не личность, а именно его или ее чувства? Можно ли оскорбить чувства неверующих? Все эти местами ироничные вопросы ставят под сомнение наличие референта у обсуждаемой правовой категории.

Медиальные свойства рассматриваемых правовых документов становятся очевидны еще и благодаря, если вольно процитировать Клода Леви-Стросса, «избытку означающего»¹⁸, то есть обилию эзотерической лексики и риторических конструкций, создающих множественные «барочные складки» на «ткани» судебных

17. Eisenlohr, P. (2011) "Anthropology of Media and the Question of Ethnic and Religious Pluralism", *Social Anthropology* 19(1): 44.

18. Леви-Стросс К. Колдун и его магия // К. Леви-Стросс. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 171–213.

решений¹⁹. Но что прячется в этих барочных — а вернее, бюрократических — «складках»? Еще один вызов, который ставит перед антропологией обращение к бюрократическим документам, — преодоление предубеждения, согласно которому сама природа бюрократии предполагает дегуманизацию, устранение из своего дискурсивного поля всего человеческого. Этой задачей мотивирован ряд исследований, сконцентрированных на эмоциях и аффектах, создаваемых документами и в документах²⁰, и моделях субъекта, конструируемых в бюрократических текстах²¹. В нашем же случае в документах создается не биографическая репрезентация личности и ее аффекты, а скорее модель intersubjectивной ситуации оскорбления, рассматриваемой с опорой на внутренние состояния участников этой ситуации — интенций в случае обвиняемых и эмоций в случае потерпевших, которые выводятся посредством юридического языка.

19. Mertz, E. (1994) “Legal language: Pragmatics, poetics, and social power”, *Annual Review of Anthropology* 23: 435–455; Tiersma, P. (1999) *Legal Language*. Chicago, London: University of Chicago Press; Руднева Е.А., Троценкова Е.В. Проблема понятности юридических документов в контексте профессиональной идентичности // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 489. С. 25–35; Тумаев К.Д., Шклярук М.С. «Языком протокола»: исследование связи юридического языка с профессиональной повседневностью и организационным контекстом // Социология власти. 2015. 27(2): 168–206.
20. См., например, исследование: Navaro-Yashin, Y. (2007) “Make-Believe Papers, Legal Forms, and the Counterfeit: Affective Interactions between Documents and People in Britain and Cyprus”, *Anthropological Theory* 7(1): 79–96.
21. Например: Jacob, M. A. (2007) “Form-Made Persons: Consent Forms as Consent’s Blind Spot”, *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review* 30(2): 249–268; James, E. (2004) “The Political Economy of ‘Trauma’ in Haiti in the Democratic Era of Insecurity”, *Culture, Medicine and Psychiatry* 28: 127–149. Однако здесь стоит помнить о необходимости воздерживаться от «вульгарного фукольдизма», как это обозначил уже упомянутый Дэвид Гребер (Graeber, D. (2014) “Anthropology and the Rise of the Professional-Managerial Class”, *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 4(3): 73–88), и не фетишизировать генеративные возможности бюрократического дискурса. Документы действительно могут создавать «больного», «жертву насилия», «беженца» или «преступника», а также их чувства и эмоции для государственных или иных управленческих структур. В то же время между конструируемыми образами и самим субъектом всегда остается зазор, который может быть использован обеими сторонами для собственных целей (бюрократами или теми людьми, чья личность становится предметом документации). Тобиас Келли предлагает это называть «удвоением субъектности» (“doubling” of subjectivity): Kelly, T. (2006) “Documented Lives: Fear and the Uncertainties of Law During the Second Palestinian Intifada”, *Journal of the Royal Anthropological Institute* 12: 91. Как кажется в этой связи, концепция «перевода» субъектности, свойств личности и ее переживаний на язык бюрократического документа несколько удачнее схватывает суть этих процессов, не выделяя в качестве основной функции их перформативность.

Интенциональность здесь следовало бы рассматривать как предмет конструирования и обсуждения в конкретных социальных и политических контекстах, как «металингвистические утверждения об отношениях между публичными свидетельствами и внутренними состояниями»²². В антропологических дискуссиях по этому вопросу исследователи связывают локальные соображения о степени значимости внутренних состояний для интерпретации поведения с местным отношением к власти и подотчетности. Так, использование языка интенций часто отражает тип социального контроля над публичной объективацией внутренней жизни субъекта. Интерес в контексте обсуждения связи между социальным контролем и принятыми формами догадок о внутренних состояниях и мотивировках субъектов может представлять правовая специфика доказательств совершения преступления по прямому умыслу. Для судебных стратегий спекуляции об интенциях может быть применимо понятие *mind legibility*, предложенное Натальей Бьютрон и Хансом Стейнмюллером в контексте рассмотрения государственных форм контроля над «разумами», — то есть «публичное чтение мыслей, возможность и даже требование публичного обсуждения, сравнения и оценки внутренних состояний, что создает иллюзию преодоления непрозрачности... для установления отношений подотчетности и власти в интересах государства»²³. В случае судебных приговоров дискурсивная реконструкция интенций обвиняемых оформляется с опорой на морально-правовые категории. Так создается образ внутренних состояний своеобразной моральной личности, последовательно и намеренно нарушающей нормы морального порядка.

При этом цитируемые голоса пострадавших, описания их эмоций и страданий, также служат построению образа личности обвиняемого как субъекта антиобщественного, а значит и аморального — указанную особенность можно считать специфической формой правовой интересубъектности, создаваемой в судебных документах, предмет которых составляет правовое регулирова-

22. Keane, W. (2008) "Others, Other Minds, and Others' Theories of Other Minds: An Afterword on the Psychology and Politics of Opacity Claims", *Anthropological Quarterly* 81(2): 474.

23. Buitron, N., Steinmüller, H. (2021) "State Legibility and Mind Legibility in the Original Political Society", *Religion and Society* 12(1): 39–55.

ние и защита субъективной жизни людей²⁴. Цитирование становится частью более общего процесса «перевода» субъектности, в частности повседневного языка эмоций, аффекта и страданий в судебный нарратив²⁵. В лингвистической антропологии практики цитирования рассматриваются как один из инструментов интердискурсивности²⁶: в такой перспективе цитирование видится основанием для формирования субъектности в языке через «сложные комбинации голосов»²⁷. Благодаря свойству интердискурсивности этих текстов мы можем увидеть за (на первый взгляд) безличными судебными документами то, как люди описывают свои оскорбленные чувства:

«Ему было очень неприятно²⁸, что с могилы его мамы был вынут крест. Бумажки на дверях храма и порушенные могилы, это оскорбление верующих».

24. Поскольку моральная личность обвиняемого собирается из голосов стороны обвинителей (правоохранителей, свидетелей и пострадавших), представителей психологической, лингвистической и религиоведческой экспертизы и голосов стороны защиты (адвокатов и свидетелей защиты), эти голоса вступают в противоречие друг с другом по вопросу морального облика обвиняемого. Так, образ обвиняемого в тексте судебного решения может создаваться одновременно и высказываниями типа «*ФИО добрый, отзывчивый человек, трудолюбивый и всегда окажет помощь. Помогает по хозяйству, любит чистоту, ухаживает за животными, за растениями. Он не курит, наркотики и алкоголь не употребляет*» (цитата из показаний свидетеля защиты) и «*преступные действия ФИО имели безнравственный, циничный характер, носили в себе религиозную ненависть и вражду к усопшим*» (Дело № 1-49-2019).
25. Giordano, C. (2008) "Practices of Translation and the Making of Migrant Subjectivities in Contemporary Italy", *American Ethnologist* 35(4): 588–606; Hastrup, K. (2003) "Violence, Suffering and Human Rights: Anthropological Reflections", *Anthropological theory* 3(3): 309–323. Юристы и сами могут определять себя как своеобразных переводчиков с субъективного, «человеческого», языка на профессиональный. Об этом красноречиво свидетельствует одна из приведенных Е.А. Рудневой и Е.В. Троценковой цитат из интервью: «*И вот я работаю переводчиком: мне мама там скажет свою мысль, так а-ах [размахивая руками], а я это все перепишу, мама потом прочитает и говорит: «Ох, как хорошо все изложено: строго, официально и по существу»*»: Руднева Е., Троценкова Е. Проблема понятности юридических документов в контексте профессиональной идентичности. С. 30.
26. Goodman, J. E., Tomlinson, M., Richland, J. B. (2014) "Citational Practices: Knowledge, Personhood, and Subjectivity", *Annual Review of Anthropology* 43: 449–463.
27. Irvine, J. T. (1996) "Shadow Conversations: The Indeterminacy of Participant Roles", *Silverstein & Urban*, p. 151.
28. Здесь и далее в цитатах из правовых документов курсив авторский — Е.Х. Орфография и пунктуация сохранены. Большинство текстов судебных решений, использованных в статье, были опубликованы с анонимизацией участников судеб-

«После этого увидел сломанные кресты на кладбище, два или три креста. *Было как-то очень нехорошо*». (Дело № 1-49-2019)

«Она была крайне возмущена и потрясена, поскольку такие изображения ее (свидетель № 1) и (свидетель № 2), как православных и верующих людей, оскорбили». (Дело № 1-176/2022)

«...глубоко оскорбили и унизили их религиозные чувства, осквернили объект духовного почитания в виде иконы, содержащей лики Иисуса Христа и Девы Марии». (Дело № 01-0009-11-2021)

«...чем публично выразила явное неуважение к обществу и оскорбила религиозные чувства православных верующих, в том числе Х А. Ю., который, используя глобальную телекоммуникационную сеть Интернет, обзрев указанную видеозапись, *испытал нравственные страдания*». (Дело № X/2022-40)

Некоторые фрагменты здесь можно опознать как прямые цитирования слов свидетелей, включенные в текст приговора без кавычек, — речь пострадавших вводится без синтаксических модификаций, характерных для косвенной речи; сохраняются индивидуальные особенности описания внутренних состояний (ср. «было как-то очень нехорошо», «было очень неприятно»). Другие же явным образом представляют результат перевода в юридические термины «нравственных страданий» и, шире, морального вреда. Нужно заметить, что этот язык описания эмоций порой не так аффективно насыщен, как юридические формулировки.

Кто осуществляет этот перевод в каждом конкретном случае — правоохранители или сами свидетели и пострадавшие — сказать затруднительно в силу специфики используемого материала (тексты без контекстов). Свидетели действительно могут добавлять в свои показания элементы юридического языка эмоций, но в данном случае мы не столько заинтересованы в том, чтобы оценить аутентичность этих формулировок и их авторство, сколько в том, чтобы показать, как устроена дискурсивная драматизация внутренних состояний участников ситуации «оскорбления» и их оформление в моральных терминах в юридическом докумен-

ного процесса. В иных случаях цитируемые фрагменты решений были анонимизированы автором статьи самостоятельно.

те. Иными словами, вопрос о том, как высказывания типа «очень неприятно» превращаются в «оскорбленные чувства» и «нравственные страдания» заслуживает отдельного антропологического внимания.

Интенциональность и умысел в «оскорблении религиозных чувств»

Судебный приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной части. Вводная часть содержит формальную информацию и метаданные о судебном разбирательстве, резолютивная — о назначении наказания. Для предмета исследования интерес представляет описательно-мотивировочная часть приговора, которая содержит: (1) описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления; (2) доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства; (3) указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а в случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или установления неправильной квалификации преступления — основания и мотивы изменения обвинения; (4) мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания, применению иных мер воздействия; (5) обоснование принятых решений по другим вопросам.

Оскорбление чувств верующих, будучи с юридической точки зрения уголовным преступлением, имеет ряд квалификационных признаков: (1) публичность; (2) проявление явного неуважения к обществу; (3) оскорбительная форма. В данном случае второй и третий квалификационные признаки требуют подтверждения имеющегося у оскорбителя прямого умысла и желания совершить действие, которому приписывается преступный характер. Обвинителю необходимо доказывать, что злоумышленник знал и понимал, что он делал, и желал именно оскорбить, тогда как обвиняемый может утверждать, что он ничего не знал и не желал.

Согласно ст. 25 УК РФ, умысел признается таковым, если «лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления». Границы между неосторожностью и умыслом (а квалификация

деяния как «оскорбления чувств верующих» происходит в случае наличия прямого умысла) проводятся через наличие «желания» по отношению к последствиям. Неосторожность предполагает, что интенции, направленной на совершение действий, у человека нет. Соответственно задача обвинителя в делах по ст. 148 УК РФ доказать, что человек действительно хотел оскорбить верующих своими действиями. При этом единой инструкции по доказательству наличия умысла не существует — в каждом составе преступления будут применяться свои риторические инструменты для обоснования субъективной стороны преступления в зависимости от устоявшегося в данном районе шаблона.

Оформление разрозненных фактов, показаний, реплик в непротиворечивую и упорядоченную картину преступления посредством «языка протокола» относится к области экспертизы следователя. Социологи права Кирилл Титаев и Мария Шклярук выделяют ряд языковых навыков обвинительной драматургии российского следователя, которые позволяют переписывать все действия обвиняемого в терминах преступления («переименование обычного в преступное»), а также выводить мотивы и желания, то есть преступный умысел, из фактов произошедших действий и событий («приписывание смысла»)²⁹. На основании данных судебных решений можно заметить, что в структурном отношении доказательство наличия умысла строится преимущественно на эмфатических конструкциях, постоянных повторах и своеобразных цитационных рондо, содержащих формулы и отдельные понятия из правовых актов. Так, к примеру, в приговоре по делу № 1-471/2016 от 28.09.2016 обосновывается наличие преступного умысла к совершению оскорбления чувств верующих у женщины, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оголила части тела в православном храме и резко выразилась в адрес людей, ассоциирующих себя с православием:

...выражая явное неуважение к обществу, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, умышленно, публично, нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, желая оскорбить религиоз-

29. Титаев К.Д., Шклярук М.С. «Языком протокола»: исследование связи юридического языка с профессиональной повседневностью и организационным контекстом. С. 194–196.

ные чувства верующих, осознавая, что своими действиями нарушает ч. 2 ст. 19, ст. 28, ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации, выражаясь грубой нецензурной бранью, подняла свое платье, тем самым продемонстрировала свои половые органы в присутствии прихожан храма и в нецензурной форме публично заявила, что данный храм построен на денежные средства лиц, занимающихся проституцией, после чего была выведена прихожанами из храма.

В описании мотивировочной части преступления мы видим, как составители документа «присваивают» действия обвиняемой интенции, оформленные в терминах из юридической области. Заметный объем в обосновании субъективной стороны преступления занимает подчинительный комплекс, состоящий из последовательности деепричастных оборотов. Будучи расположены в начале описательно-мотивировочной части, эти конструкции («осознавая», «выражая», «желая», «нарушая») как будто наращивают напряжение в описании преступления. Обороты, относящиеся к более или менее наблюдаемым последствиям действий (выражение явного неуважения к обществу, публичность, нарушение общепризнанных норм и правил поведения), здесь ожидаемы, коль скоро они имплицитно предполагают экспертную оценку внешнего по отношению к субъекту преступления авторитета (то есть института права). Однако те описательные конструкции, которые отсылают к внутренним состояниям субъекта правонарушения — ее желания или осознание своих действий в качестве преступных по тем или иным признакам — имеют довольно спекулятивный характер. При этом они помещаются в пресуппозиционную часть высказывания и подаются как нечто логически и заведомо известное: мы не можем знать наверняка, что женщина, выругавшаяся и обнажившаяся в храме в состоянии алкогольного опьянения, осмысляла свои действия как «общественно опасные», то есть как те, которые нарушают конституционные гарантии «свободы совести, свободы вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (соответствующие цитаты из конституционных статей для подтверждения наличия умысла в совершении общественно опасных действий зачастую приводятся в приговорах целиком).

Рассмотрим еще один пример (дело № 1-66/2022; 1-360/2021). Предметом судебного разбирательства стал случай, имевший место в г. Крымске (Краснодарский край) в 2021 году, в день, когда православные христиане праздновали Пасху. Согласно тексту судебного документа, мужчина купил кулич в продуктовом магазине «Пятерочка», после чего, отправившись в одно из местных кафе, сделал из кулича нечто наподобие колбы для кальяна, заложил в нее табак и угли. Процесс курения импровизированного кальяна был заснят другим мужчиной на камеру телефона. На видео снимающий за кадром говорит: «Христос Воскрес», на что герой видео отвечает ему: «Алюминь». Видео было выложено в аккаунт социальной сети обвиняемого и сопровождено ироничным поздравлением с праздником, содержащим нецензурную лексику. Приведем объемную цитату из описательно-мотивировочной части приговора по этому делу:

...у ФИО1 находящегося в кафе VOSK, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно знающего, что ДД.ММ.ГТТГ в Российской Федерации отмечается один из самых главных христианских праздников — Пасха (Воскресение Христово), возник умысел на курение табака через устройство для курения кальян, путем помещения табака в кулич — пасхальный хлеб, являющийся главным традиционным символом Пасхи, возник умысел на совершение публичных действий, оскорбляющих религиозные чувства верующих. ФИО1, реализуя свой вышеуказанный противоправный умысел, ДД.ММ.ГТТГ примерно в 17 часов приобрел в магазине ООО Агроторг «Пятерочка», расположенном по адресу: <адрес> кулич (пасхальный хлеб), после чего вернулся в кафе VOSK по вышеуказанному адресу, где, пренебрежительно относясь к православной вере, преследуя цель оскорбить религиозные чувства верующих, действуя умышленно, то есть сознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения конституционных прав и оскорбления религиозных чувств неопределенного круга православных верующих и желая их наступления, изготовил из приобретенного им кулича (пасхального хлеба) чашу, в которую заложил табак и разожженные угли, подготовил кальян для курения табака.

Помимо уже указанного наращивания напряжения за счет перечисления внутренних состояний (желая/осознавая/предвидя), в которых было совершенно инкриминируемое преступление,

важно отметить несколько особенностей приведенного фрагмента. Правоприменитель пытается продемонстрировать некоторую последовательность возникновения преступного умысла, который обязательно должен хронологически предшествовать совершенным действиям, а значит, и быть их источником. Порою выведение в текст приговора такой хронологической последовательности приводит к курьезным описаниям, как, например, в данном случае: поскольку два «типа» умысла здесь грамматически не отождествляются и перечисляются через запятую, получается, что сначала возник умысел на курение табака, а потом уже только на оскорбление. Очевидно, что правоприменитель не может знать, как именно протекал внутренний процесс размышлений, который привел к совершению определенных действий обвиняемым. Тем не менее в тексте приговора реконструируется этот процесс, чему поэтапная расшифровка намерений и внутренних состояний призвана добавить убедительности.

Утверждения о наличии интенций оскорбить изобилуют отсылками к своеобразному глоссарию морально-правового воображения: действия, «лишенные всяких основ нравственности и морали», «направленные на нарушение нравственной чистоты», «общественная опасность», «явное неуважение к обществу» и «противопоставление себя окружающим», «чувство вседозволенности и безнаказанности», а также «глумление». Как отмечает Вебб Кин, современная дифференциация сфер ответственности, о которой писали классики социальной теории Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер, привела к тому, что в современных обществах сфере религии зачастую приписывается производство моральных обоснований действий и этических позиций, а в некоторых контекстах религия полностью идентифицируется с моралью как таковой (и, добавим, становится гарантом ее сохранения в обществе)³⁰.

В рассматриваемом контексте эту ответственность за собой признают и сами представители религиозной власти. В 2021–2022 гг. в России случилась вспышка инициированных уголовных дел по статье 148 УК, предметом которых стали однотипные провокационные фотографии или видео на фоне культовых сооружений. Большинство таких медийных материалов были опубликованы в социальных сетях (что делало очевидным возможность

30. Keane, W. (2010) "Minds, Surfaces, and Reasons in the Anthropology of Ethics", in M. Lambek (ed.) *Ordinary Ethics: Anthropology, Language, and Action*, pp. 78–79. New York: Fordham University Press.

их квалификации в качестве «оскорбления чувств верующих» по признаку публичности). Эти случаи оголения себя на фоне храмов, а также публичные извинения за свое поведение широко освещались в СМИ и становились предметом обсуждения и морального осуждения в социальных сетях. Даже те пользователи, которые не определяли себя в качестве православных или верующих, тем не менее высказывались резко негативно о подобном поведении, нарушающем правила порядка в общественных местах. Обозначили свою позицию по вопросу и представители Русской православной церкви. Так, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью новостному изданию РИА «Новости» отметил, что

...угроза в таких случаях, разумеется, не в горе-активисте, а попытке отменить, обнулить ценность святыни для личности, государства и общества. Уравнять икону с газетной вырезкой, а храм с декорациями к пошлому водевилю. Думаю, что церковь, выступая против нормальности подобных явлений, защищает не себя, а человека и общество от скатывания в варварское состояние³¹.

В схожем ключе представил позицию церкви и заместитель председателя указанного отдела Вахтанг Кипшидзе в беседе с журналистами издания «Газета.Ru»:

Задача статьи 148 УК РФ не в том, чтобы как можно больше людей получило обвинительные сроки, а чтобы как можно меньше людей пытались сеять рознь в нашем обществе по религиозным признакам, оскорбляя и унижая религиозные символы, которые являются ценными для большинства наших соотечественников, к какой бы традиционной религии они ни относились.

Также он добавил, что «воспитанному человеку не придет в голову мысль раздеться на любой площади по незнанию³².

31. Патриарх осведомлен о провокационных фото на фоне храмов, заявил Легойда // РИА Новости. 01.02.2022 [<https://ria.ru/20220201/patriarkh-1770430390.html>, доступ от 24.12.2024].

32. В РПЦ оценили извинения девушки, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного // Газета.Ru. 21.10.2021 [https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/21/n_16728013.shtml, доступ от 24.12.2024].

Расширение кощунственных действий до аморального поведения в целом можно встретить и в показаниях священнослужителей, данных по делам об оскорблении чувств:

...оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля **** о том, что он несет службу в **** в должности священника. Он имеет профильное теологическое образование. В ходе опроса сотрудник полиции предъявил ему для ознакомления акт осмотра интернет-ресурса «телеграм» *** с приложением на 7 листах, он полагает, что данные публикации оскорбляют его религиозные чувства и могут оскорбить религиозные чувства не только христиан, но и любого человека, воспитанного в культурных рамках нашей страны, т.к. умышленное размещение данных фотографий в открытом доступе в социальной сети является нарушением всех канонических норм поведения для православных христиан и направлено на осквернение христианской религии, основ этики и морали любого человека, могут сформировать у других людей (в том числе несовершеннолетних детей) негативный образ православного христианства и являются осквернением символики религиозного почитания (из показаний свидетелей стороны обвинения, приговор по уголовному делу № 1-13/113/2023 от 16 августа 2023 г., г. Москва).

В обсуждаемых текстах приговоров мы видим, как посредством манипуляции конструируемыми интенциями и правовыми категориями морали создается личность «индивидуалистичная» и сознательно противопоставляющая себя обществу, то есть нарушающая нормы публичного поведения и «культурности»³³. Несмотря на то, что в большинстве случаев речь идет, по сути, о кощунстве или богохульстве, и сама диспозиция уголовной статьи, и содержательное наполнение описательно-мотивировочных частей приговоров во многом направлены на осуждение аморального поведения, на наказание таких членов общества, которые не демонстрируют достаточного уважения к символическому порядку коллективной жизни³⁴. Здесь религиозное становится изоморф-

33. Об использовании понятия «культурности» в значении морального достоинства в постсоветской России см.: Rivkin-Fish, M. (2009) "Tracing Landscapes of the Past in Class Subjectivity: Practices of Memory and Distinction in Marketizing Russia", *American Ethnologist* 36(1): 79–95.

34. Показательна в этой связи ссылка Вахтанга Кипшидзе на превентивную функцию законодательства.

но социальному *per se*, что, безусловно, довольно ярко контрастирует со случаем противостояния исламского и либерального моральных воображений в современных западных обществах, где «религиозное» поведение конструируется секулярными институтами как противоположность «социальному»³⁵, а также с советской правовой культурой, которая помещала определенные формы религиозной жизни в разряд антиобщественного поведения³⁶.

Как отмечает Татьяна Ластовка применительно к исследованию «тунеядства» в советской правовой теории и практике, «общим мерилom для их [тунеядцев] социального выделения служила их подразумеваемая инаковость, резко контрастирующая с рекомендуемым образом “настоящего советского человека”». Подобный образ при этом конструировался апофатически: «для того, чтобы судить о том, каким должен быть советский человек, важно знать, как выглядит его антипод»³⁷. В контексте современной правовой защиты «чувств верующих» антиобщественное поведение обвиняемых противопоставляется поведению общественному — а именно уважительному по отношению к определенным (чаще всего православным) символам. Типичным же антиподом обвиняемому выступает тот, кто должным образом демонстрирует эмоциональную реакцию на акты трансгрессии границ сакрального и морального порядков.

Морализация религиозной эмоциональности

Можно предположить, что в силу высокой неопределенности правовой категории «оскорбления чувств верующих» и из-за непривычной в таких процессах «чувствительности» поднимаемых вопросов правоохранители подбирают в качестве аналога максимально близкие в структурном отношении правовые понятия, затрагивающие сферу внутренней жизни людей. Как уже было отмечено ранее, такой ближайшей смысловой категорией

35. См. об этом исследование Нади Фадил, посвященное осмыслению эмоциональной реакции общественности на отказ мусульман от рукопожатия с представителями противоположного пола: Fadil, N. (2009) “Managing Affects and Sensibilities: The Case of Not-Handshaking and Not-Fasting”, *Social Anthropology/Anthropologie Sociale* 17 (4): 439–454.

36. Панченко А.А. «Трясуны»: дисциплинарное общество, политическая полиция и судьбы пятидесятничества в России // Антропологический форум. 2013. № 18. С. 223–255.

37. Ластовка Т.В. Тунеядство в СССР (1961–1991): юридическая теория и социальная практика // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 221.

оказывается понятие «морального вреда». Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), «если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда». Под «неимущественными правами» понимаются, согласно ст. 150 ГК РФ, «жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом», то есть все те права, негативные последствия от нарушения которых сложно «измерить».

При этом российская правовая система настаивает на том, что компенсация морального вреда возможна только в денежной форме. В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» содержатся положения о том, чем суды должны руководствоваться при принятии решения о взыскании компенсации морального вреда, в том числе ее размере. Критерии принятия подобных решений довольно размыты: «размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств... степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий»³⁸.

38. Денежная компенсация на территории России не всегда была обязательной формой возмещения ущерба: советские правоведы и законодатели считали моральный вред и нравственные страдания такими категориями, которые невозможно измерить деньгами. Этот институт был введен после распада СССР 1991 году и является относительно новым для российской правовой системы. До 1995 года российский закон также допускал возмещение морального вреда нематериальными

Тем примечательнее, что перевод оскорбленных чувств в термины морального вреда не приобретает финансовые коннотации, оставляя только символические. Описание оскорбленных чувств как моральных или нравственных страданий не предполагает постановку вопроса соизмерения внутренних переживаний и денежных сумм, призванных их компенсировать. В самом деле, кому конкретно должен быть возмещен моральный вред за подобное «антиобщественное поведение»? Это уже не вполне конкретные пострадавшие, а само «общество», которое оскорбленные чувства верующих призвано риторически репрезентировать. Соответственно, компенсация такого морального вреда требует других ритуалов символической коррекции морального порядка — например публичных извинений, которые были принесены многими обвиняемыми на камеру по установившейся традиции³⁹.

Описание оскорбленных чувств как моральных или нравственных страданий мы обнаруживаем уже в первом деле ст. 213 ч. 2 УК РФ, повлиявшем на внесение поправки в статью 148 УК. В тексте приговора приведено значительное число показаний свидетелей и потерпевших. Вот лишь некоторые из них:

Ему (ФИО) был причинен *моральный вред — боль в душе*. Подобное поведение недопустимо.

Он (ФИО) воспринял действия девушек как осквернение Храма, ему была причинена *душевная боль, нанесен моральный вред*.

Ему как православному христианину действиями этих девушек причинен *моральный вред*.

Ей (ФИО) причинили *моральный вред*, она общалась с духовником, ходила на исповедь. Извинения подсудимых не искренние, она (ФИО) их не принимает.

Их действия его (ФИО) унизили, оскорбили, *морально травмировали*.

благами, такими как подарки или путевки в санатории. Благодарю за уточнения по этому вопросу Алину Куличкову.

39. См. подробнее об этом: Капустина Е.Л., Хонинева Е.А. «Извинистан»: публичные извинения и моральный порядок в современном Дагестане // Этнографическое обозрение. 2023. № 2. С. 111–133.

Судя по всему, широкий резонанс, который получил этот случай, мог предопределить дальнейшую ориентацию на категорию морального вреда при составлении решений внутри судебной практики. Взять, к примеру, приговор по громкому делу об «оскорблении чувств верующих», в рамках которого осудили двух молодых Блогеров, которые сняли на камеру, имитирующую оральный половой акт, на фоне Храма Василия Блаженного. Девушка при этом была одета в форму сотрудника полиции. Приведем цитату из показаний пострадавших по этому делу, в результате которого молодые люди получили уголовные сроки:

Такая фотография на фоне святого места, где православные молятся и проходят церковные служения с имитацией орального полового акта, находящаяся в общедоступном месте, где ее могут увидеть другие верующие, в том числе и несовершеннолетние дети — это оскорбление чувств всех православных, которое причиняет *глубокое моральное страдание* и выражает явное неуважение к обществу и к огромному количеству православных верующих. (Дело № 1-40/2021)

Схожим образом описывают свои оскорбленные чувства пострадавшие по другому делу, инициированному вскоре после случая на Красной площади в Москве. На этот раз предметом уголовного судопроизводства стали фотографии из социальных сетей блогерши, оголившей ягодицы на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (дело № X/2022-40, см. цитату выше). Существуют и примеры, когда в терминах «морального вреда» недостаточно уважительное отношение к сфере сакрального интерпретируют истцы. Примером здесь может выступить случай гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда, поданного арендатором помещения для богослужений одной местной религиозной организации (Церкви евангельских христиан) в г. Томске после того, как четверо судебных приставов прервали своим появлением богослужение в арендуемом помещении. Не вдаваясь в подробности о содержательной стороне обвинения и причинах отказа в удовлетворении исковых требований, приведем некоторые цитаты из показаний истца:

Закрыв двери и не выпуская из помещения Церкви, они тем самым ограничили свободу многих верующих. Действиями судебных приставов Богослужение было сорвано. Полагает, что данными дей-

ствиями было нарушено его право на свободу вероисповедания. По причине небрежного отношения к святыням он *испытал нравственные и физические страдания*.

Кроме того, не понятно, на каком основании описано личное имущество в виде музыкальных инструментов, которое принадлежит физическому лицу, а проведение богослужения без музыки невозможно, поэтому ему пришлось взять музыкальные инструменты на ответственное хранение. *Он испытал невероятные нравственные и физические страдания*. (Дело № 2-2336/15)

Вероятно, истец заблаговременно ознакомился с содержанием статьи КоАП о компенсации морального вреда и использовал соответствующие формулировки («невероятные нравственные и физические страдания») для придания убедительности своей позиции. Но в отличие от предыдущих двух случаев отсылки к нравственным страданиям не были сочтены достаточным основанием для удовлетворения иска. В целом здесь можно видеть свидетельство своеобразного неравенства языков, на которое указывал в свое время Талал Асад, рассуждая о культурном переводе. «Голоса» православных верующих, представляющих официальное религиозное большинство, в правовой дискурсивной реальности имеют высокий символический статус, на который другие религиозные группы не могут претендовать.

Однако важнее всего то, что в указанном случае «нравственные страдания» не представлялись следствием столкновения с антиобщественным поведением, переступающим нормы публичной морали, как это происходит в других обсуждаемых делах по статье 148 УК. Также в отличие от более стандартных случаев причинения морального вреда (например в контексте медицинского права или даже рассмотренном выше судебном решении), моральное измерение «нравственных страданий», в которые «переводятся» оскорбленные чувства верующих, не становится синонимом нематериального. Это моральное в социальном, то есть дюркгеймианском, смысле этого слова. Общество в истолковании Эмиля Дюркгейма — это источник, объект, объяснительный принцип и цель всей моральной жизни. Именно общество, обладая особым авторитетом в глазах индивидов, обеспечивает обязательность следования моральным правилам и именно общество предстает как моральное благо, идеал или добро, что обуславливает влечение к нему индивидов. В дюркгеймианской логи-

ке значение общества настолько велико, что в секулярном мире в качестве обоснования моральной жизни людей оно занимает место, принадлежавшее Богу. Тем интереснее и парадоксальнее выглядят те дискурсивные процессы, которые можно наблюдать на примере обсуждаемых судебных документов: моральная реакция на неподобающее публичное поведение, получая сначала обрамление в юридической категории «оскорбленных чувств верующих» и представляясь в качестве спонтанного религиозного аффекта, вновь обретает моральные коннотации, будучи обращена в термины морального вреда и нравственных страданий.

В заключение вернемся к проблеме перевода религиозной эмоциональности на юридический язык, которую в свое время обозначила Саба Махмуд. В российском контексте юридический перевод моральных притязаний людей, оскорбленных кощунственными действиями, не обнаруживает несоизмеримости образов морального порядка, лежащих в основе современного российского права и религиозной (то есть православной) семиотической идеологии. Такой трансфер значений из одной системы в другую оказывается возможным благодаря тому, что в правовых документах оскорбленные религиозные чувства оказываются синекдохой нравственным чувствам *per se*. Тогда вопрос можно было бы поставить иначе: это религиозная чувствительность «переводится» в морально-правовые категории или же моральное возмущение обретает форму «оскорбленных религиозных чувств»? Однако вне зависимости от того, как мы бы ответили на данный вопрос, все это говорит о том, насколько актуальным остается для современного российского общества такой тип морального воображения, который оперирует образами общественного как культурного и достойного поведения и индивидуалистичного как его морального антипода.

Библиография / References

- Капустина Е.Л., Хонинева Е.А. «Извинистан»: публичные извинения и моральный порядок в современном Дагестане // Этнографическое обозрение. 2023. № 2. С. 111–133.
- Ластовка Т.В. Тунеядство в СССР (1961–1991): юридическая теория и социальная практика // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 212–229.
- Леви-Стросс К. Колдун и его магия // К. Леви-Стросс. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 171–213.
- Панченко А.А. «Трясуны»: дисциплинарное общество, политическая полиция и судьбы пятидесятилетия в России // Антропологический форум. 2013. № 18. С. 223–255.

- Панеях Э., Титаев К., Шклярук М. Траектория уголовного дела: институциональный анализ. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
- Разогреева А. М. Преступления как возмущение коллективных чувств: концепция Э. Дюркгейма и Актуальные арт-практики // Философия права. 2017. № 4(83). С. 133–138.
- Руднева Е. А., Троценкова Е. В. Проблема понятности юридических документов в контексте профессиональной идентичности // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 489. С. 25–35.
- Титаев К. Д., Шклярук М. С. «Языком протокола»: исследование связи юридического языка с профессиональной повседневностью и организационным контекстом // Социология власти. 2015. № 27(2). С. 168–206.
- Узланер Д. Дело «Пусси райот» и особенности российского постсекуляризма // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 2(31). С. 93–133.
- Черкаева К. Достоинство личности как личная собственность: Метаморфоза российских законов о порочащих сведениях // Новое литературное обозрение. 2018. № 3. С. 65–80.
- Asad, T. (2018) *Secular Translations: Nation-state, Modern Self, and Calculative Reason*. New York, NY: Columbia University Press.
- Asad, T. (1986) “The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology”, In J. Clifford, G. E. Marcus. *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, pp. 141–164. Berkeley, CA: University of California Press.
- Bens, J. (2022) *The Sentimental Court: The Affective Life of International Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bernstein, A. (2013) “An Inadvertent Sacrifice: Body Politics and Sovereign Power in the Pussy Riot Affair”, *Critical Inquiry* 40(1): 220–241.
- Buitron, N., Steinmüller, H. (2021) “State Legibility and Mind Legibility in the Original Political Society”, *Religion and Society* 12(1): 39–55.
- Cliteur, P., Herrenberg, T. (2016) *The Fall and Rise of Blasphemy Law*. Leiden: Leiden University Press.
- Eisenlohr, P. (2011) “Anthropology of Media and the Question of Ethnic and Religious Pluralism”, *Social Anthropology* 19(1): 40–55.
- Fadil, N. (2009) “Managing Affects and Sensibilities: The Case of Not-Handshaking and Not-Fasting”, *Social Anthropology/Anthropologie Sociale* 17 (4): 439–454.
- Fitzpatrick, Sh. (2006) “Social Parasites: How Tramps, Idle Youth, and Busy Entrepreneurs Impeded the Soviet March to Communism”, *Cahiers du monde russe et soviétique* 47(1/2).
- Giordano, C. (2008) “Practices of Translation and the Making of Migrant Subjectivities in Contemporary Italy”, *American Ethnologist* 35(4): 588–606.
- Goodman, J. E., Tomlinson, M., Richland, J. B. (2014) “Citational Practices: Knowledge, Personhood, and Subjectivity”, *Annual Review of Anthropology* 43: 449–463.
- Graeber, D. (2012) “Dead Zones of the Imagination: on Violence, Bureaucracy, And Interpretive Labour”, *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 2(2): 105–128.
- Graeber, D. (2014) “Anthropology and the Rise of The Professional-Managerial Class”, *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 4(3): 73–88.
- Irvine, J. T. (1996) “Shadow Conversations: The Indeterminacy of Participant Roles”, See *Silverstein & Urban*, pp. 131–59.

- Hastrup, K. (2003) "Violence, Suffering and Human Rights: Anthropological Reflections", *Anthropological Theory* 3(3): 309–323.
- Hull, M. (2012) "Documents and Bureaucracy", *Annual Review of Anthropology* 41: 251–267.
- Jacob, M. A. (2007) "Form-Made Persons: Consent Forms as Consent's Blind Spot", *PolAR: Political and Legal Anthropology Review* 30(2): 249–268.
- James, E. (2004) "The Political Economy of 'Trauma' In Haiti on the Democratic Era Of Insecurity", *Culture, Medicine and Psychiatry* 28: 127–149.
- Keane, W. (2008) "Others, Other Minds, and Others' Theories of Other Minds: An Afterword on the Psychology And Politics of Opacity Claims", *Anthropological Quarterly* 81(2): 473–482.
- Keane, W. (2010) "Minds, Surfaces, and Reasons in the Anthropology of Ethics", in M. Lambek (ed.) *Ordinary Ethics: Anthropology, Language, and Action*, pp. 64–83. New York: Fordham University Press.
- Kelly, T. (2006) "Documented Lives: Fear and The Uncertainties of Law During the Second Palestinian Intifada", *Journal of the Royal Anthropological Institute* 12: 89–107.
- Kormina, J. (2021) "'The Church Should Know its Place': The Passions and the Interests of Urban Struggle In Post-Atheist Russia", *History and Anthropology* 32(5): 574–595.
- Mahmood, S. (2009) "Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide?", *Critical Inquiry* 35(4): 836–862.
- Masud, M. K., Vogt, K., Larsen, L., Moe, C. (eds.) (2021) *Freedom of Expression in Islam: Challenging Apostasy and Blasphemy Laws*. London, New York, Dublin: I. B. TAURIS.
- Mertz, E. (1994) "Legal Language: Pragmatics, Poetics, and Social Power", *Annual Review of Anthropology* 23: 435–455.
- Navaro-Yashin, Y. (2007) "Make-Believe Papers, Legal Forms, and The Counterfeit: Affective Interactions Between Documents and People in Britain and Cyprus", *Anthropological Theory* 7(1): 79–96.
- Rivkin-Fish, M. (2009) "Tracing Landscapes of the Past In Class Subjectivity: Practices of Memory and Distinction in Marketizing Russia", *American Ethnologist* 36(1): 79–95.
- Rollier, P., Frøystad, K., & Engelsen Ruud, A. (2019) *Outrage: The Rise of Religious Offence in Contemporary South Asia*. London: UCL Press.
- Shevzov, V. (2014) "Women on the Fault Lines of Faith: Pussy Riot and the Insider/ Outsider Challenge to Post-Soviet Orthodoxy", *Religion and Gender* 4(2): 121–144.
- Tiersma, P. (1999) *Legal Language*. Chicago, London: University of Chicago Press.
- Uzlaner, D., Stoeckl, K. (2019) "From Pussy Riot's 'Punk Prayer' to Matilda: Orthodox Believers, Critique, and Religious Freedom in Russia", *Journal of Contemporary Religion* 34(3): 427–445.